

БОРИС ЛЕЙБОВ

ДОГ
ГО
БУЖ

РОМАН



Борис Лейбов

Дорогобуж

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67855788
Дорогобуж / Лейбов, Борис: Лайвбук; Москва; 2022
ISBN 978-5-907428-54-6

Аннотация

«Дорогобуж» Бориса Бориса Лейбова заставляет вспомнить историческое фэнтези Алексея Иванова и антиутопии Владимира Сорокина, он жестко бескомпромиссен, как проза Алексея Сальникова, и загадочен, как романы Александра Иличевского.

Небольшой смоленский город Дорогобуж неожиданно становится точкой схождения эпох: жестокий смоленский князь с эскадронам летучих гусар идет войной на Московию; русалки охотно разговаривают с людьми и перемещаются из прошлого в будущее; клад со старинными монетами спрятан в доме, находящемся посреди революционной смуты; русские братки едут в Крым, чтобы потом оказаться в Великобритании. В романе есть все, что должно быть в хорошей современной прозе: метафорический реализм, невероятное сочетание несочетаемого, драйв и саспенс, и еще что-то неуловимое, но всегда ощущаемое на самом тонком уровне.

Содержание

Часть I	6
Часть II	50
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Борис Лейбов

Дорогобуж

Фото автора Лии Гельдман

© Борис Лейбов, текст, 2022

© ООО «Издательство «Лайвбук», оформление, 2022



Часть I

Дорогобуж

1

Снег лежал по всей земле. Из последней сотни смоленских дворов на зимовку осталось не больше десятка. В тех домах, где еще был мужик, топили печи. В основном углем, разобранными ступенями и перилами опустевших крылец. Старик занавесил окно, и голый свет отступил.

– Так вот, Сережка, жить без деревьев-то.

Сережа многое не понимал. Не знал, что такое деревья и почему без них яркое солнце светит как в пустыне. Но он был не глуп. Не хуже других ребяташек. Молчаливый, лишнего не говорил и относился к своему языку как к ноге, которой нужно пользоваться по необходимости. А ноги у Сережи были очень ловкие. Не просто так его с малолетства прозвали Сороконожкой. Ногами мальчик мог и тарелку деду подать. Извернется весь, зажмет блюдце меж пальцев и деду в руки. И соль так же, и ложку. А вот рук не было. Гладкие розовые плечи плавно переходили в туловище. Про руки как будто забыл Бог и не приделал. Да еще и мать Сережину забрал, так как родился он более семи килограммов весом. Хорошо,

что у Сороконожки такой дедушка был. Все двенадцать Сережкиных лет они жили вдвоем, и дед учил его справляться с жизнью так, чтобы не страшно было Сережку одного оставлять на свете.

– Эх, видел бы ты, как у нас в Дорогобуже вишня цвела в мае!

Дед закрыл глаза, видимо, переживая зрелище вновь. Лет ему было за сто. Точно уже никто не знал – ни сам дед, ни соседи.

– Это как салют, только днем. Да еще и исчезающий. И фруктами пахнет.

Сережа очень любил дедовы истории. В них все было на жизнь не похоже, и мальчик был уверен, что все это вымысел. Одинокие предложения обычно перерастали в рассказ, но не всегда. Сережка подтянул к лежанке стул и присел в ожидании сказки.

– Сынок, дай-ка мне вот ту железную спиральку.

Дед указал на столик, стоящий под Троеручницей. Он был завален разными вещами, название которых и предназначение уже никто не знал. Сороконожка перекатился до столика и обратно и подал деду вещицу, из которой с одной стороны торчала кисточка, похожая на сорочий хвост, а с другой – вьющаяся заточенная спираль. Старик вытащил из-под жилетки деревянного птенца, почесал кисточкой свой здоровенный нос, нависший над белыми усами, и принялся ковыряться иглой в птичьем заде. Заулыбался Сережа: «Это он

мне свистульку будет делать». А это значило, что истории быть.

– Чего рот разинул? – улыбался старик. У него с утра была ломота, общая, от пальцев ног и до верхних зубов, хотя в комнате было натоплено. А ежели не мороз, то только смерть могла так потягивать суставы – как рыбак сети. Дед был в настроении поболтать. Ему самому хотелось повспоминать – так, глядишь, и забудется неприглядная вечность. Пустая и холодная, как все то, что лежало за их окнами.

– Большой ты, Сережка. Не страшно за тебя уже, – старик не отрывался от игрушки. – Одного боюсь, что рот тебе некому будет покрестить, когда зевнешь.

Сороконожка молчал. Умное и красивое русское лицо. Глаза зеленые. Ресницы огромные, как крылья траурницы.

– Хотя вот изловчился же все ногами делать. И лучину зажечь, и щи посолить. Может, и зевать носом научишься? Тогда и бес не страшен!

Старик рассмеялся. Он уже знал, кого сейчас будет воскрешать в памяти. Сережа заулыбался и потянулся к деду. Положил голову на дедовы ноги, на его сапоги, и сосредоточился.

– Ну что, опять про князя? – дед подул в просверленное отверстие, и облачко древесной пыли повисло над ними. В голубых лучах, пробивавшихся снаружи, оно кружилось медленно и просто. А затем пощекотало лицо мальчика так, что ему пришлось вертеть головой и тереться ушами о дедо-

ву штанину.

– В мае у нас цвели вишни как нигде. Из Смоленска люди ходили, по двадцать часов шли, чтоб посмотреть на них. Лето начиналось так. Это когда жить хорошо было, Сережка, и ходить можно было босиком. Идешь по дороге, она чистая, не пыльная. По оврагам жимолость, купальница, медуница... Хотя что тебе медуница? Ты и вишни-то не видел, сынок.

Старик перевел взгляд со свистульки на открытый рот мальчишки. Тот, казалось, забывал дышать.

– А дома какие были! – деду было приятно выговориться. – Не то что сейчас. Сруб этот поганый. Дома все белые, каменные. И все в мире имело порядок и смысл. Рабочий ты человек – один этаж тебе можно. Ремесленники, военные, басманники – всех видно. Земли давали поровну. Еще когда высоченных уродов взрывали, всем приписным к земле выдавали десятину, и огороды можно было держать. Вот так вот! Между огородами ровные тропинки. И в каждом дворе по обязательной вишне. С моста красиво было. Стоишь высоко, под тобой Днепр, а по обе руки – белый город. Были и редкие дома в два этажа, литовцев и стражей. И всего один дом в три, пристроенный к Борису и Глебу. Дом княжича. Его лица мы не видели, как и лица самого князя. Он с отрочества в серебряном капюшоне ходил, а отец в золотом. Ну, про князя потом. А сейчас про девочку расскажу. Уж в сотый раз, наверное.

Была она нашей соседкой. Лет ей было побольше моего, но ненамного. Отец ее служил на стене в Гжатске, а мать умерла – или не умерла, но не было у нее матери. Звали ее Ксенька, и любил ее весь город, а не любить было невозможно. Кожа прозрачная, волосы словно седые от рождения, а брови и ресницы – такие же. Худенькая, как камышонок. И улыбка у нее такая, даже не знаю, как передать.

И дед улыбнулся во весь свой сгнивший рот, да так, что Сережка захохотал на всю комнату.

– Ну да. Ей не сто было, а шестнадцать. Ну да бог с ней, с улыбкой. В общем, была она такой, что мужам хорошо становилось, да так, что хотелось петь, плакать и молиться. Вызывала она в людях любовь, Сережа, хорошую любовь, никто и подумать не мог о том, чтоб обидеть ее или учинить чего дурного. Голос у нее был еще такой, детский, а речь взрослая, выразительная. Особенно когда она говорила «ша» или «жа». «Пошли купаться. Гостижа поднялась», – говорила она мне, и от этого «Гас-ти-жа» я был готов обнять ее за ноги и не пускать до тех пор, пока она бы вишней не обернулась, а я корнем ее, ну или старым пнем, как сейчас. Помню, позвала она меня со своего огорода: «Пошли на мост. Воскрешенье сегодня!» И пускай на мосту было весело, и пускай можно было надеть черные штаны и белую рубашку, все это мне было неинтересно. Я любил сидеть дома и даже в святой день готов был помогать отцу за занавешенными окнами работать с деревом. Стулья больше прочей мебели любил. Тем

более кресла. Их покупали в двухэтажные дома. Как приятно гладить покрытые лаком подлокотники! Гладил бы и гладил, и перешкуривал бы до бивня. Но раз Ксенька звала, готов я был бросить все и влачиться за ней, вот как ты вот, рот разинув и слюни пустив.

Сережа заулыбался и потерял лбом о дедово колено. Так он показывал старику, что любил его, а старик это знал и тихонько радовался тому, хотя виду не подавал, ведь старости положено быть хмурой и ворчливой.

– Идем мы от наших домов в центр. Я в брюках черных и в ботинках, как водится. Она в платье, в белом. Вроде бы и в землю смотрю, а сам на ее ступни поглядываю. Все в ней было правильно. Все пальцы аккуратные. Ни одного плохого ногтя. Ни одного вросшего. Она идет, поет что-то и приплясывает, и искренне так, и весело, будто не человек она совсем, а само лето. Шли мы вдоль титановой полосы. Удобно было, она, как ни крути, всегда к центру, к площади выводит и к мосту. Но ступать на нее нельзя, могло убить светом. Над этой дорожкой стражниковы автобусы летали с князевыми людьми. Людям-то давно кроме лошадей и ног ничего не полагалось. А им быстрее надо было добираться, успевать всюду. Тогда мы, Сереж, все за чистый воздух боролись. Даже их катафалки черные газы не выдавали, а чуть слышно шуршали над металлической лентой.

В избу постучали, и Сережа вздрогнул, будто его резко разбудили. Не успели они ответить, как дверь открылась, и

в комнату вошла женщина в драном тулупе. Бросила на пол три замороженных полена, с довоенными клеймами.

– От Красного креста. Каждому двору полагается, – безучастно сказала она.

Старик посмотрел на окоченевшие, тощие до боли брусья.

– Вроде по пять на двор полагается? – сказал он.

– Полагается, – повторила женщина и вышла вон, зло захлопнув дверь.

– Ничего не меняется, Сереж, – сказал дед и стал дальше выковыривать дерево из игрушки. – Я не сразу понял, чего это Ксенька веселая такая и чего выплясывает все. Потом его только заметил. Он шел по другую сторону улицы. Черный весь такой, носатый, точно европеец. Не дорогобужец, прищипанный. Но держался так, будто всю жизнь тут прожил, да еще и в двухэтажной палате. Уверенная такая улыбка, даже ухмылка. Нехорошо он как-то на Ксеньку смотрел, а ей, видно, нравился тот взгляд. Но уже на площади я его потерял. Людей много было. Со всеми надо было поздороваться, пожелать здоровья, победы и поцеловаться. А все еще и с детьми. В общем, галдела площадь. И так мы шли к мосту толпой, а я все за ее ножками следил, чтобы не затерялись среди тысячи других.

На мосту уже тоже было немало народу. По центру, как всегда, стояла трибуна, и судья уже что-то громко рассказывал. Мы подошли ближе, уперлись в спины, и тут я Ксеньку

и потерял.

«Тихо!» – крикнул судья. «Тихо!» – крикнули стражи, и в одно мгновение повисла такая тишина, что под толпою слышно стало Днепр, а над толпою – насекомых.

«Читаю дальше. Внемли», – прогремели судейские слова над головами. И он стал читать. Я слово в слово не припомню, но суть была такая...

Роуз накрыла голову одеялом и повела языком по коже спящей жены – от груди к паху. Она не успела коснуться волос, как Хелен резко одернула ее:

– Что? Я просто хотела поцеловать...

– Господи, Роуз, мне вставать через пару часов.

Хелен отвернулась и притворилась спящей.

За сколоченной трибуной сидел судья. Сидел в нашем с отцом кресле. По правую руку стояла женщина, не в платье, как все, а в каких-то лохмотьях, как в мешке, с прорезью для головы. Стояла поникшая, и по тому, как тряслись плечи, видно было, что плакала.

Судья захлопнул книгу и, не вставая, бросил ее через плечо в реку. В общей тишине все услышали, как она ушла под воду.

– Пускай люди решают, – безучастно сказал судья. – Что, люди? Палочку для Насти или прощение в Божий день?

Я хоть и был мальчишкой, но даже мне было ясно, что

сам верховный не желает ей палочки. Его уставший взгляд блуждал по лицам в поисках милосердия. Толпа молчала.

– Воля ваша, – сказал судья и встал. Снял с себя шапку с золотым крестом и тяжело подошел к несчастной.

– Встань на колени, дочка.

Женщина послушно рухнула на колени, наверное, и от усталости тоже. Это мы с Ксенькой к полудню пришли, а многие тут с восьми были. А сколько он там до нас читал, уж и неудобно спросить. Подумают еще, что мне все это интересно.

– Бог создал нас, чтобы показать всей Азии, как надо. Оглянись. Идет война! Лучшие мужи у Гжатских врат. За что они там? За тебя, Настя, за меня, за каменный город. За добрый воздух, который в радость пить, ведь если не так, то никак.

Судья обернулся к нам.

– Времена меняются, а народ – нет. Все равно ничего веселей блуда не выдумал. А, Настя? Тебе меня, старика, не жалко? Мне после книжки твоей сколько раз себя по языку бить? Как мне ртом этим, устами этими к мощам прикладываться? У тебя муж вот в Гжатске стоит? А ты что, по ночам московские книжки читаешь, как две бабы фарисеевой веры трутся как собаки? Еще, поди, по ночам читаешь? После того, как детей крестила?

– Прости, отец, – разрыдалась Настя, – прости.

– Бог простит. А ты ступай прямо отсюда на коленях к

Борису и Глебу, да так, чтоб в кровь стерлись. И стой там, под великомучениками-покровителями до вечера, без воды, в молитве. И ночь так проведи. А завтра встань!

– Спасибо, отец! – рыдала Настасья.

Еще бы не рыдать! То слезы счастья. Если был так близок к палочке, можно и год на коленях простоять.

Судья что-то тихо сказал одному из стражей.

– Левобережные, по домам! – заорал тот.

– Правобережные, по домам!

И мы поплелись. Мне, конечно, хотелось посмотреть, как страж поведет бабу на поводке до храма, но судья и вправду был уставший и, видимо, хотел уже домой, и нас разогнали.

Ну, жен в ошейниках я-то уже не раз видел. Не то чтоб палочкой, прямо на трибуне, но тоже спектакль какой-никакой. А вот то, что я Ксеньку в толпе потерял и уже никак не мог найти, – вот это меня ужасно огорчало, ведь я по дороге к мосту уже почти что решил на разговор.

Обратно я шел хоть и среди людей, но будто один. Я искал в себе смелость, которой мне так не доставало, чтобы сказать ей все, что рвалось из сердца. Я хотел сказать, что если она откажет, если сочтет, что я недоросток, если не захочет со мной видеться, то я брошу все – и отца, и мастерскую, и любимый Дорогобуж, – и уйду в гжатский полк. Это была бы верная смерть, хотя вслух об этом никто не говорил. И мне уж точно совсем туда не хотелось. Но в мыслях мое признание начиналось с ее отказа. Я-то, конечно, мечтал, чтоб мы

венчались, чтоб вот так рука об руку гуляли по берегу Днепра. Мечтал посадить не одну вишню, а целый сад. Мечтал так и прикручивать гнутые ножки к кроватям и стульям в мастерской. Я хотел, чтоб все оставалось на своих местах, с одной лишь поправкой – она рядом.

Шел я огородами и вдоль берега. Бросал круглых прыгунов по реке. Не замечая, отрывал сухие ветви с чужих деревьев и рубил ими воздух. Так я, наверное, сек азиатов, предвкушая ее отказ. Не помню уже наверняка. А вообще, Сережка, любовь как листок, только по весне раскрывается. Сидел же зимой, строгал да пилил, и ничего, не страдал так. Не горел. Может, оно и к лучшему, что тебе уж никогда не узнать, какое оно, лето. Все поспокойней поживешь.

Сережа уже давно перестал улыбаться. Он знал эту сказку и сидел в напряжении, ожидая услышать страшное и знакомое продолжение, пускай и в сотый раз. Дед смотрел на Сережу и дивился – даже, наверное, любовался. Ведь истинно же, что только чистое сердце не перестает переживать за чужие горести.

– Жили мы тогда, дверей не затворяя. Не как сейчас, потому что брать нечего, а потому что и в мыслях воровства у нас не было. Во-первых, за грабеж полагалась палочка, без милостей. Ну а во-вторых, грех, да еще ветхозаветный. Дошел я до ее дома, толкнул дверь и набрал воздуха для объяснений. Только вот пусто было в гостиной. Не вернулась еще. Хорошо было в каменных постройках в жару. Прохладно.

В стене окошко маленькое, смотрелось как картина. Огород спускался к воде. Липа почти что у самого берега, и скамейка под ней. Моя скамейка. Сам шкуруил, да так, чтоб ни одна заноза ни в жизни ее бы не ранила. Да, точно картина. Только живая: река-то движется. Стоял я так долго, наверное. На реку можно до темноты смотреть – не скучно, не устанешь. И уже почти что успокоило совсем мои мысли течение, и решимости как будто прибавилось. Только разом вся смелость моя испарилась. Услышал я ее голос, этот колокольчик веселый. Подходила она к дому, только вот не одна, а с мужем, и, видать, тем самым, чернявым, что утром ее глазами раздевал. Сам себя не помня, прыгнул я под кровать и замер, будто лисенок, к которому псы со спины заходят. А вот так, Сережка, не спрячься я тогда, не было бы нас с тобой сейчас, и матери твоей бы не было, и разговора этого, ничего.

Дед отложил птичку, взял Сережку за ухо и ласково подтянул к себе. Вытер слюни мальчика рукавом и улыбнулся.

– Ох, ты хоть моргать-то не забывай, – и Сережа послушно заморгал. Все сделал бы, лишь бы дед дальше рассказывал. Дед свистнул в птичий хвост. Вышло не очень. Тоскливо как-то пищала игрушка. Он посмотрел в просверленное отверстие и начал пуще прежнего ковырять в нем железкой. Будто увидел какой лишней деревянный орган, мешающий свисту, и решил его удалить.

– Они вошли и тотчас, будто звери, повалились на пол и давай друг с друга одежду стягивать. Ксенька была от меня

всего-то на вытянутой руке. Что было для меня непонятным, так это то, что она с него рубаху стягивала пуще, чем он с нее платье. А когда голыми оказались, то сцепились как собаки. Она стонет, он рычит. Признаться, Сереж, я и не знал тогда, что люди так умеют. Все в моем воображении было иначе. Я всегда представлял темноту, ну и что медленно это все как-то бывает. И что лицом к лицу надо. А тут только эти шлепки и раздавались – это его ноги об ее зад бились. Что со мной было? И в штанах потяжелело, и обида сдавила сердце так, что слезы навернулись. И неясно, чего хотелось больше: его убить, вот прям проломить голову, чтоб только эти шлепки не слушать, или на его место стать, чтоб самому так позади ее шлепать. В смятенье был я страшном. И то и то – грех, а хочется, да так сильно, что хоть палец прокусывай. И закрыл я глаза руками тогда, и начал про себя «Отче наш» читать. Раз за разом. Раз за разом. Пока в штанах тяжесть не ушла. И пока страсти не начали гаснуть. Видимо, долго я молился – может, час, а может, и всю ночь. Лето же было. Это когда так до конца и не темнеет.

Дед посмотрел на внука. Сережа-то и представить себе не мог переходящего в рассвет заката.

– Ксения сидела прямо надо мной. Пружины в матрасе просели, и там, где они выпирали, кололи меня в спину. Ноженьки ее свисали перед моим лицом, и я дышал в сторону, чтобы не почувствовала она кожей тепла дыхания. Ворон этот в углу сидел. Рожа довольная. Хотя бы оделся! Сидел в мо-

ем кресле и ручку поглаживал. Видимо, Ксенькой любовался. Утром-то глазел на нее как голодный. А сейчас, уже после, этаким укротителем на нее смотрел. Молча оценивал. Я слышал, как она водила щеткой по волосам. Странное чувство было у меня. Я уже так долго пролежал под этой кроватью, как закатившаяся денежка, но так и не подумал, как мне отсюда выйти. А выйти сильно хотелось, Сережка, даже выбежать! И нестись, пока дыхания хватит. А там пешком. До Гжатска. И на стену. Я уже понимал, что в Дорогобуже не останусь.

– А ремесло твое что? – вдруг спросила Ксенька.

«Да все мебель делаю», – мысленно отвечал я. Обиженный поддиванный клоп.

– Палочник, – улыбался стервец.

«Вот это дела», – подумал я. Непростая сволочь, точно литовец. Палочников в Дорогобуже своих отродясь не было. За всю жизнь видел раза три, как палочник душу выкуривает на мосту. И всегда смоленский был. Прилетал на автобусе на казнь. А теперь у нас что, свой палач будет? Умирал в моей голове тот Дорогобуж, в котором я жил. Вот и мечта о Ксеньке растаяла, как сахар в чужом рту, вот тебе и палач городской. Скоро, наверное, все вишни порубят. Голубей пожрут. И останется воронье над черными крышами. Но все это я пытался выбросить из головы так же быстро, как придумывал. Ведь воевать собрался за этот мир, значит, нельзя думать, что он погибнет, иначе зачем за него умирать?

– Чего оробела? – прошипел он, гад скользкий.

– А вот и не оробела. Я вообще ничего не боюсь. Только одного.

Услышал я, что пропал из голоса ее детский звон, и говорила она теперь как обычная баба из толпы.

– Чего же? – заулыбался литовец.

– Боюсь головой к Днепру быть похороненной, как моя мать. Боюсь русалок по весне увидеть, когда разлив будет. Я хоть и писать не умею, все хочу просить соседского мальчишку завещание мое запомнить. Что если помру, то пусть похоронят в конце сада, но стопами к воде.

Мужик встал и рассмеялся.

– Русалки! Да ты и правда ребеночек совсем.

Соседский мальчишка – это я. А ведь как жених шел в ее дом! Мужем грезил стать. А она обо мне – как я о тебе, Сережка, как о маленьком.

Сережка нахмурился. Сам он себя маленьким не считал.

– Ну а потом весь мой мир как хрустальный шар рассыпался. Да чего там в сотый раз рассказывать.

Дед посмотрел на мальчика и убедился, что тому все еще по-настоящему интересно.

– Распахнулась дверь. Забежали мужики, трое, четверо, уже было не разобрать. Да только не мужики они были. Мне как раз одни ноги и видно. Мужик-то в воскрешенье в ботинках ходит, а в остальные дни кто в чем. А они в сапожках. Да еще кто в золотых, кто в красных. Обуви такой я раньше

так близко не видел. И тут начало твориться немислимое. Все вбежавшие попадали на колени – и давай, кто кого перекричит:

– Прости, князь!

– Прости!

– Будь в гневе праведен!

– Не забирай живота!

Эти все ползут к нему как пауки, а Ксенька наоборот – вскочила. Да и я чуть было не вскочил. Это что же получается, я князя видел? Я его видел! Лик его? Очи? Что же мне было делать, Сережа? Что же так испытывал меня Бог? Руки теперь сами тянулись к его сапогам. Князя коснуться. Прижаться губами. Какая тут женитьба! Тут как к Богу любовь. Страсть без края, без времени.

Но жестоки бывают и боги, Сережа. Все в моей голове перемешалось, словно задумывал яблоко съесть, а подали солянку. Услыхал я то самое шипенье и щелчок за ним. То, как палочка из виска душу выбивает, ни с чем не перепутаешь. Ксенька замертво упала. Ее лицо прямо передо мной. Видимо, еще о край кровати рассекла щеку, пока падала. Но кровь из нее почти не сочилась, так как сердце ее уже погасло. Так-то.

Сережка сидел и плакал. Молча. Не содрогаясь, не всхлипывая. Одними своими светлыми глазами.

– За ноги потянули ее к двери. Двое, вроде. Тут князь сказал: «В конце сада закопай. У реки. Крест не ставь. Землю

притопчи». И они выволокли ее из дому. «Стоять! – крикнул князь. – Головой к реке». И кто-то захлопнул дверь.

– Заборов, сколько в этот раз искали? – спросил Князь того, что остался, в золотых сапогах который.

– Двадцать два часа, Солнце!

– Плохо, Заборов, плохо. Лучше, чем в прошлый раз, но плохо.

– Исправлюсь, Иван Дмитриевич, дай только еще слу- чай, – страж как будто умолял.

– Бог с тобой. Одежду привез?

Князь взял что-то и отошел в угол, где совсем недавно сидел и разглядывал девочку. Он влез в кольчугу с золотым платьем внутри, надел капюшон и занавесил лицо.

– Эти, когда яму выроют, оставь их там же. Пусть наши знают, что за двадцать два часа я две души отпустил.

Заборов молча встал на колени:

– Спасибо, Великий Князь! Бог тебя храни.

– Ну хватит, хватит, – отмахнулся тот.

Князь вышел в дверь, оставив ее открытой. У крыльца ви- сел черный автобус. Я смотрел и не верил. В машине тоже было несколько стражей, и они стояли на коленях. Створки сомкнулись, и черная их бесшумная колесница умчала золо- того князя в Смоленск.

Заборов подошел к оконцу. Постоял сколько-то, да и вы- шел из дому. Дверь захлопнулась. Трех закопали. Я поте- рял сознание.

Проснулся один, вылез. Как будто снилось все. Да нет! Стоял еще в воздухе их запах – князев, мужицкий, и тоненький такой, Ксенин. Вышел я. Безлюдно поутру, еще рабочий час не наступил. Я тихонько вошел в наш дом. Отец стоял на коленях спиной ко мне, лицом к семейной иконе. Там, под свечкой, изображены мы трое – мать-покойница, отец и я. У берега реки стоим, а святой дух светит нам. Отец молился. Слышал, что я вошел, но я знал, что молитву он не прервет. Подошел я поближе. Он бормочет. Поцеловал его в щеку. Потом забрал из его шкафчика горсть четверец и три пула, все, что было. Сунул за щеку. Обошел отца еще раз и на гладкой ручке его кресла нацарапал ножиком «ГЖАТСК». Посмотрел на него в последний раз и ушел на войну. Вот так.

Дед протянул Сережке свистульку.

– Дальше? – спросил мальчик.

– Что дальше? Дальше еще лет восемьдесят прошло, и вот сидим мы вдвоем.

Дед сполз с лежанки, поохал, потянулся. Поднял с пола гуманитарное полено и зарядил в печь. Снял с себя ватную жилетку и застегнул на мальчике. Роста они были уже одного.

– Ну вот. Сейчас дом протопим. Ты вернешься, сырники доедим. И заляжем под одеяло. А то ведь все неврозы от мороза. И так в обнимку, не голодные, поспим. Того гляди, и один сон на двоих сойдет, и может быть, даже цветной.

Дед воткнул птичку в Сережкин рот.

– Ну, все. Поди побегай. Посвисти. А я полежу.

Сережка ткнул дверь лбом и выбежал на свет, захлопнул дверь ногой. И услышал дед задорный и одинокий свист – он несся над голой Смоленщиной. Стихал, чем дальше убегал от избы мальчик. А снег так и лежал по всей земле. И так и будет еще лежать – до скончания времени.

2

То тесное пространство под покатой крышей, что Борис Борисович задумывал как чердак при строительстве особняка, называлось теперь лофт и служило домом его внучке Роуз и ее супруге Хелен. Косые линии бордовой черепичной крыши, которые полвека назад казались возмутительной пошлостью в заносчивом городе, не ослепленном еще рекламой и подсветкой фасадов, были теперь нарушены врезанными окошками. Они, как волнорезы, были настолько искусственны и неуместны, что вызывали гримасы недовольства у старожиллов Вест-Энда, похожих на мраморные бюсты римской знати своей белесостью, худобой и безжалостными горбатыми носами. Но и эти джентльмены ушли из Шотландии на тот свет, оставляя за собой короткое эхо тростей, стучащих о каменные бордюры. Вслед за ними ушли серые пальто с поднятыми воротниками и распространенные мнения, что телевидение – глазок дьявола, женщина – друг мужчины, а голос государственной радиоволны не может лгать. Жители

утратили привычку вставать, заслышав «Боже, храни королеву». Они заговорили громко, и не только на улицах, но и в оранжереях ботанического сада, где раньше в полной тишине, при затворенных дверях, фонтан создавал слуховую иллюзию тропического дождя. «Как будто нам обычного дождя мало», – наверное, думали шотландцы и галдели наперебой о таких вещах, которые раньше вызывали озноб, пояись они только в уме, немой мыслью. «Например, *педерастия*», – шипит последний могучий старик, опираясь на трость с серебряной рукояткой и набойкой «От друзей и сослуживцев, королевской гвардии капитану Грегору», – и умирает. А потомок его, самая обыкновенная девушка, в черных брюках, продает эту трость в ломбарде на Байрс-роуд без малейшего зазрения совести. В брюках! Девушка! До ровных ли окон и декоративных труб теперь, чей дым раньше уплотнял утренний туман? Нет! Наступил двадцать первый век. Эстетический выкидыш, где на выручку бедности спешит минимализм, а в отслуживших флюгарках цветет герань. Пестрый плевок в прошлое империи.

Роуз стояла у окна скошенной крыши. С той стороны по мокрому стеклу шлепала чайка – живое напоминание о близости океана. Всего в комнате было шесть таких окон. Три выходили в зеленый жизнеутверждающий двор, ограниченный двумя близко расположенными переулками. Вторая половина окон транслировала ботанический сад – тревожный, мрачный, январский. Столетний великан ясень стоял лысый,

как гигантский онкобольной. Он оживет к весне, но до нее сейчас как до Смоленской области.

Роуз зиму не любила, впрочем, как и все, кого она когда-либо встречала. Зимой голый буковый парк был похож на перевернутые рентгеновские снимки легких: целый лес разветвленных дыхательных трубок, бронхов, бронхиол в молочной дымке дня. В низине пролеска черная масса, несущая мертвые ветви, – река Кельвин. Все, что с весны по осень было полотном всей палитры зеленого, теперь прозрачно и беззащитно. «А в России, – представляла Роуз, – все зеленое сменяется белым, нежным и легким, и люди, верно, не пьют прозак по утрам, а ходят в пушистых шубах, улыбаются и кивают друг другу при встречах». Даже чайке эта мысль показалась смешной: она спрыгнула со стекла на черепицу и зашагала прочь.

Чувство тревоги держало за горло с самого утра. Две незримые руки душили Роуз со спины. Праздность и начитанность. Она отдавала себе отчет в том, что такие приступы характерны для человека с высшим образованием, не нуждающегося в заработке. Что бы это ни было: выход из самой себя, деперсонализация, замкнутый круг рефлексии, главное – не всматриваться в неочевидные знаки. А их в этот день сыпалось множество. Роуз старалась их не замечать. Так уже было. Только попробуй отпустить гранитную реальность, как тревога пробежит по лестнице из синдромов и вскоре окажется на чердаке, за ее спиной, в костюме паники.

Но знаки кричали со всех сторон, и игнорировать их было непросто. Шел сороковой день непрекращающихся осадков. Роуз вела тетрадь, где значками отмечала, какой был день. Облако, солнышко или косые полосы. Под знаком она записывала в двух-трех предложениях сон прошлой ночи. В платяном шкафу, в ящике, лежали сорок фунтов, двумя купюрами по двадцать. За десять минут до полуночи ей исполнится сорок лет. Все эти цифры кружились в ее голове как вороны. Они, черные, выкрикивали имена смерти. «Это не впервые, – повторяла Роуз. – Просто Хелен не рядом. Все пройдет, и это пройдет». Мысли спотыкались и перебивали друг друга.

Она отошла от окна, как только что сделала чайка, и, зайдя в глубину комнаты, полулегла в кресло и уставилась на стену. Белую ровную стену. Роуз закрыла глаза и представила тяжелый предгрозово́й небосвод, где вместо черных птиц – белые, и они как серебряные осколки блестят в темноте и невидимы при свете. Дыханье сделалось редким и глубоким. Сердечные сокращения замедлились. «Просто нервы», – открыла глаза Роуз. Над камином, над фарфоровыми зверушками и младенцами (радость и уют мещанина), слева и справа от заводных часов висели две фотографии. На первой черно-желтой карточке – одноэтажный деревянный дом. «Какой милый», – подумала Роуз. Ей заметно становилось лучше. Душащие пальцы ослабевали. «Бокал вина, – решила она. – Легкий завтрак». Роуз даже улыбнулась. У *милого* дома че-

тыре окна, в деревянных наличниках, со славянскими птичками и барсами и прочими фантастическими животными. Перед домом стоит деревянная скамейка. Людей на снимке нет. Если бы Роуз извлекла снимок из золоченой рамы, то на обратной стороне обнаружила бы надпись: «Наш дом в Дорогобужь». Почерк дедов. На соседнем снимке – сам Борис Борисович, смотрящий на этот мир ни радостно, ни грустно – безучастно. Подле него настолько некрасивая женщина, что отвести взгляд невозможно. Жена Бориса Борисовича и бабушка Роуз, Маргарет Радзивилл, в девичестве Маккензи. Нельзя сказать, что Роуз мало что знала о своих корнях, она знала гораздо больше, чем, например, Хелен, которая помнила только, что одна из ее бабушек была из Лидса, а один дед – коренной лондонец. Их имен она не припоминала. А зачем? Всегда ведь можно спросить родителей. Джентльмен из предшествующей эпохи, в пальто с поднятым воротом, молчаливый капитан Грегор сказал бы, что Роуз знает непроститительно мало, но он мертв, и мнение его уже не важно.

Дед был значительно смуглее своей британской жены. Невыразительное лицо, гладко выбритые щеки, фрак. Внизу, между снимком и стеклом, маленький бумажный прямоугольник с машинописью: «Бьют-Холл, прием у мэра по случаю открытия новой верфи. 1939 год». «Вспомнила!» Роуз вспомнила, с чего началось дурное предчувствие. Еще лежа рядом с Хелен, она тихо, чтобы ее не разбудить, читала утренние новости «Хантингтон Пост» с телефона. На Шот-

ландию надвигался циклон с востока, который журналисты зарифмовали не самым оригинальным образом. Статья «The beast from the east» грозила похоронить в снегу Глазго и вызвать помехи в электросетях. Это, конечно, лучше, чем сорокадневный ливень. Но! А вот что за «но», она не поняла, но новость эта была будто ее персональная. Ничего доброго не предвещающая. Вспомнив о ключе, разбудившем источник невроза, Роуз еще больше успокоилась. Узнав причину, пускай и необъяснимую, можно заткнуть течь мысленной пробкой. А пробку деревянную приятно извлечь из стеклянного горлышка на пустом высоком чердаке. Нет, в лофте. Хлопок, а за ним сладкий звук наполняющегося бокала.

Дед Борис покинул Россию вскоре после революции. После какой – февральской или октябрьской – Роуз не знала. Честно говоря, она даже не знала, что их было больше одной. Как рассказывал ее отец Филипп, дед намеренно избежал типичных направлений бегства русских – Константинополя, Парижа, Берлина, Нью-Йорка. Каким образом он оказался на севере Британии, не помнила даже бабушка. Под старость она воспроизводила только два воспоминания: как Боренька был ошарашен таким чудом, как метро, и то, что он дворянин. Борис Борисович был из тех предприимчивых русских людей, что по большей части молчали, много делали и все успевали. Он не любил читать. Не ходил в церковь. Не посещал концертов. Он снял номер в отеле с выцветшими обоями с одним ватерклозетом на этаже и устроился работать в

порт. Отец Роуз предполагал, что это было как-то связано с его «родословной профессией», что бы это ни значило. Мнение это, конечно же, неверное. Какая могла быть профессия у дворянина, ровесника века, юноши, беглеца? Почему он оказался в порту, остается только догадываться. Известно, что к концу двадцатых он уже был секретарем управляющего строительными работами, господина Маккензи. На этот период приходится и свадьба Бориса Радзивилла с дочкой начальника. Дед уже тогда выкупил небольшой участок земли в зеленом пригороде, но построить дом по соседству со знатью средств не хватало. Бабушка путала дома, когда показывала отцу Роуз их съемное жильё того времени. Достоверно можно определить, что жили они на улице Буканан, около одноименной станции метрополитена, который так обожал дед. Сын Филипп родился у Радзивиллов непомерно поздно, когда Борису Борисовичу было за сорок, а его супруге около сорока. Зачать же они решили сразу после того, как дед, по семейной легенде, привез бабушку в открытой коляске к ботаническому саду и неожиданно велел кэбмену их не ждать.

– Мы что, заночуем в оранжерее? – наверное, усмехалась Маргарет.

– Усмешка – не насмешка, – наверное, не обиделся дед, и сказал «нет», и привел ее по тропинке через буковую просеку к трехэтажному особняку. Своей красотой тот не уступал ни соседу слева, дому главы таможенной службы, ни соседу справа, особняку племянника герцога Инвернесс, но и

не выпячивался, как полагается британскому дому. Он был цвета мокрого песка, с парадной колоннадой и витражными окнами зеленого стекла. Второй этаж имел четыре спальни. На первом был зал для приемов, с черным роялем и мелким дубовым паркетом, а еще две гостевые – для выпивших лишнего гостей. При Борисе Борисовиче ими не пользовались, так как таких гостей он не приглашал.

У Маргарет родился единственный ребенок. Жизнь ее обрела смысл, соответствующий эпохе. Борис Борисович же дослужился до георгиевского креста, приумножил свое состояние во время Второй мировой, став заблаговременно долевым собственником порта, и вскоре после победы умер. Похоронен он был с почестями. На малозаселенном картинном участке восточного некрополя скорбела знать и почти что все старшие чины городской управы. Семейный склеп, где сейчас покоится прах и бабушки, и отца с матерью Рюуз, Борис Борисович построил при жизни. Над мраморной тумбой плачет белая девушка, опираясь рукой о каменный крест с непонятной протестантам дополнительной перекладиной над линией распятия и треугольником вверху. Никто не придавал значения чудаковатым животным, охраняющим склеп, которые один в один повторяли зверей с деревянных рам дома в Дорогобуже.

После оглашения завещания ректор государственного университета был приятно удивлен щедростью, не свойственной частному лицу. Редколлегия на следующий день

дала в «Хантингтон Пост» некролог и с благодарностью объявила о решении именовать безымянные въездные ворота с двумя черными готическими башенками Радзивилловыми. Коллеги по центральному порту на Клайде открыли именную скамейку напротив оранжереи в саду. «На этом месте Борис, бывало, сидел, кормил голубей и отдыхал душой. Покойся с миром, дорогой друг». Маргарет была тронута до слез таким вниманием их частых гостей и вскоре по настоянию многих из их товарищества уступила бумаги мужа за немалые наличные деньги. Так умер русский человек, подданный британской короны, последний из шотландских Радзивиллов, кто работал и процветал. «За дуру вдову», – поминали коллеги Радзивилла, распределяя его акции поровну между собой, вечером в пабе на Аштон-лейн.

Отец Роуз Филипп, бездельник и шестидесятник, ничего путного в своей жизни не сотворил. Ни денег, ни памяти. Быстро похоронив отца, а вскоре и мать, он рано женился на девушке, чьи родители, в отличие от родителей других его девушек, поняли, что он не только богат, но и глуп, а где-то и безволен. Так уже носившая в себе Роуз Эли Макфиарнон переехала в дом Бориса Борисовича. За десять с небольшим лет совместного пьянства и скуки они умудрились истратить все оставленные дедом Роуз средства. За эту скоротечную и бессмысленную жизнь Филипп то находил себя в отцовстве и с ажиотажем, свойственным алкоголикам, рассказывал дочери об их славной родословной и учил ее случайным рус-

ским словам. То читал над ее колыбелью «Мцыри» и показывал гравюры с зимними охотничьими сценками. Надолго его не хватало. Когда Роуз подросла и смогла самостоятельно сидеть, Филипп увидел в ней музыкальный дар. Крошечка Роуз продвинулась не дальше вступления «К Элизе», когда дедовский рояль продали. Толку в Филиппе не было, но был шарм уставшего от жизни аристократа. Он ездил на «ягуаре», посещал мужской клуб и поигрывал с дамами в теннис.

За десять лет Филипп ни разу не был в отцовском любимом саду, не навестил их с Маргарет могилы. Он не задумывался, от чего так скоро умерла мать. Зато искренне считал себя хорошим мужем и отцом. Эли, как ему казалось, была ему близким другом, и когда обратная сторона задорного пьянства давала о себе знать, в те сердечные минуты он делился с ней сокровенным. Но дружбе и любви настал конец. От звезд к терниям. Их лодка быта разбилась о бедность, вернее, о тающий достаток. Впредь они будут пить порознь, выгнав близость из дружбы и затворив двери отдельных спален. «Ягуар» пришлось продать. Следом Филипп отнес материны драгоценности на Байрс-роуд, куда много лет спустя принесут и трость капитана. В эту непростую минуту отца Роуз все же потянуло навещать родителей. Он пил у могилы, гладил язык мраморного барса и спрашивал родные имена: «За что?» Но камень не дает ответов, тем более на пошлые и наигранные вопросы.

В некогда знатном доме остались трое: необратимый ал-

коголик, нелюбящая его жена и девочка-первоклассница. Ученица школы святой Мэри. Чтобы продолжать пить «папин любимый» скотч и не переставать чувствовать себя дворянином, Филипп сдал первый этаж предприимчивому молодому англичанину, который сотворил из него небольшой семейный отель «Ботаника» с видом на сад. На первые деньги с аренды Филипп заказал каменную лестницу со стороны внутреннего двора, и прорубил новую дверь во второй этаж.

Роуз с начальной школы вела самостоятельную жизнь. Она сама одевалась, сама расчесывала волосы, сама шла пешком до школы, там и обедала. Девочка засиживалась в библиотеке до закрытия, не обязательно за книгами, а просто из-за наличия крыши. Дом в последние годы Филиппа был в состоянии холодной войны. Эли, в отличие от мужа, себе не лгала и принимала прожитую, лишённую всякого смысла жизнь. Она пила осознанно – «быстрее бы уже».

Отец Роуз, запираясь в спальне с «папиным любимым», на завершающей стадии своего распада обнаружил в себе художника. «Главное в искусстве – это окружить себя прекрасным», – думал он и на последние деньги покупал дорогие атрибуты современного Феба. Графин эдинбургского хрустала, перья стерлингового серебра и китайский шелковый халат. А уж после пошло и само рисование. Поначалу это были русские избы, срисованные со старой отцовской карточки. Избы, запорошенные снегом. Потом последовали иллюстрации персонажей, жильцов его внутренней русской деревни.

Он постоянно рисовал седого старца и мальчишку, видимо, внука. Их портретов были сотни. Рисунки валялись на коврах, на кровати, в которой хозяин не спал, так как препятствием к ней служило кресло, обтянутое зловещей зеленой кожей. Его герои становились уродливыми. У старика раскрошились и поредели зубы, а у мальчика пропали руки. С пейзажей сначала исчезли деревья, затем сократилось количество домов, чтобы в конце концов и вовсе сойти на нет. На последних рисунках было пусто. Одни только кривые прыгающие буквы, выведенные серебряным пером: «Это белый снег». Самая последняя картина, с которой тело Филиппа подняли реаниматологи, все-таки имела бессвязные изображения. В центре зияла открытая старческая пасть с редкими тонкими зубами, изъеденными пародонтозом. В правом верхнем углу Филипп начертил птичку. Из клюва вылетали ноты. Сама игрушка была точь-в-точь как птицы на склепе Бориса Радзивилла. В нижнем левом углу стояла размашистая подпись и название рисунка: «Без водки тесно».

Щеки Филиппа выбрили, его самого вымыли и уложили к родителям. На похоронах не было ни Эли, ни школьницы Роуз – у той был экзамен. Возвращение непутевого сына засвидетельствовали управляющий кладбища, два могильщика и пастор. Эли родительских прав не лишили. В восьмидесятых годах двадцатого столетия мать, утонувшая в телеэкране с неиссякаемым бокалом розе, не такая уж и плохая мать.

Роуз, поспевший неврастеник, начала делать первые самостоятельные шаги. Разделила второй этаж дедовского дома на три квартиры. Самую маленькую оставила не реагирующей на явь Эли. Две другие, где недавно были спальня и мастерская ее отца, были сданы большой пакистанской семье. Роуз аккуратно собрала в папку работы Филиппа и отвезла в Школу искусств Чарльза Макинтоша, чтобы понять, искусство это или нет. Резолюция не удивила: «Художественной ценности нет». Роуз могла бы убрать папку на чердак и хранить как память. Но памяти Филипп не стоил, и чердака больше не было, там начался ремонт будущей квартиры Роуз на вырученные от пакистанцев деньги. Рисунки Роуз сожгла – ритуально, на рассвете, чтобы холодный туман вобрал в себя синий дым.

Весть о смерти матери застигла ее в Риме, в гостинице на Народной площади. Ей писал арендатор. Полиция вскрыла дверь, выключила телевизор и вынесла четырехдневный труп. Роуз ответила сразу. «За следующие три месяца можешь не платить. Похорони на участке Радзивиллов. Все документы у нотариуса „МакЭвен и сыновья“. Комнату убери и сдай. Двести сорок фунтов в месяц. Спасибо тебе, Радж. Обнимаю, Роуз». Сообщение ушло.

– Все хорошо? – спросил голый англичанин, обнимающий ее зад.

– Да не очень, – ответила Роуз. Мужское прикосновение было ей противно. Она пересилила себя и согнулась.

Теперь она – второе поколение Радзивиллов, которому не придется работать. Но рента будет потрачена не бездарно, она увидит мир и проживет яркую жизнь. Так она решила, а англичанин извлек неустойчивый фаллос и отправился в душ.

– Ваше здоровье! – одна из редких русских фраз, которым научил Роуз отец.

– Ваше здоровье, бабушка!

Роуз коснулась фотокарточки бокалом и выпила содержимое. Мир она посмотрела краем глаза. Всю западную Европу, два месяца в Америке, где окончательно осознала себя лесбиянкой, и полгода в Катманду, где разучилась есть мясо, – но только до возвращения в Шотландию.

Был в ее жизни день, который она часто проигрывала в памяти. Первая его половина состояла сплошь из знаков вселенной, которые привели к первой болезненной потере. День текущий по обилию намеков космоса был неуютно похож на тот. Четыре года назад такой же дождливой зимой Роуз проснулась и выполнила все последовательные действия безработного и беззаботного человека. Она лежала с полчаса в ожидании полудня. Звездочка лежал рядом. Он уже был стареньким, когда она подобрала его на кладбище. Пес сидел тогда у ног мраморного барса и трясся от холода. Он, маленький, безобидный и белый, должен был со временем отзываться на Борис Борисович. Но отмыв и накормив его,

Роуз удивилась перемене в его характере. Крошечный, как шерстяной клубок, невиданной породы, он прыгал с кресла к ней на руки и обратно и был так искренне благодарен за то, что сыт и высушен, как только умеют не одухотворенные животные. «Звездочка», – подумала Роуз, и так он стал ее единственным близким теплокровным на несколько мокрых зим.

В то сумрачное утро он так же лежал рядом и разглядывал в своей хозяйке пробуждение ото сна. Звездочка был подозрительно тих и терпелив. Он не визжал, не лизал ее лицо, не тащил в сад. Роуз встала и потянулась. Ей снился город, который она иногда видела во сне, но наяву в котором ни разу не была. И вот под утро, гуляя по этому городу, она разглядела за белым известковым забором, под средиземноморской пихтой, кресты. В своем прибрежном городке она впервые набрела на некрополь. Где кончалось кладбище, начинался морской берег. Роуз уже стояла на нем. К ее ногам подкатила черная волна и должна была разлететься о гальку, но остановилась, замерев скрученной трубочкой с белой шапкой. Роуз проснулась в этот момент, почувствовав неестественность воды и, видимо, во сне поняв, что это сон. И вот на неприятное послевкусие скверных грез ложился безучастный взгляд в пространство любимого Звездочки. Роуз узнала этот взгляд. Дед Борис смотрел со стены на ее гостиную так же – ни весело, ни грустно, никак.

Роуз потянулась, влезла в джинсы, почистила зубы, умы-

ла лицо, надела вязаный свитер на голое тело – он приятно покалывал. Накинула серое приталенное пальто, поправила ворот, собрала черные волосы в хвост. Вывела Звездочку на поводке. «Обычно он меня ведет», – подумала Роуз, и какая-то тень скользнула по периферии ее утренних несобранных мыслей.

На Маргарет-драйв она заказала во врезанной в фасад крошечной кофейне латте. Горячая молочная пена примирит ее с сыростью зимнего сада. Из радиokolонки играла песня, очень простая, четыре повторяющиеся ноты. Роуз уже положила два железных портрета королевы на прилавок, как песня оборвалась на рекламный блок. «Не обременяйте близких вам людей тратами. Позаботьтесь о собственных похоронах при жизни. Общество „Мюррей“ подберет вместе с вами живописное место, надгробие, любые тонкости, шрифт гравировки. Музыкантов. Стол. Место сбора гостей. Умейте удивлять напоследок! Возможна рассрочка». «Какая мерзость», – подумала Роуз и пошла прочь.

В парке ее настроение совсем упало – в тот момент, когда дождь набрал силу и уже не моросил, а пошел полным ходом, она не обнаружила в руке забытый кофе. Звездочка испражняться не хотел. «Ну! Давай!» – подталкивала его Роуз к персональной уборной, гладкому ясеню, а собачка смотрела на хозяйку и будто не понимала, чего та от нее хочет. Роуз отпустила поводок и забралась с ногами на скамью. Сад по погоде был безлюден, и некому было ее упрекнуть. Она за-

курила, сняла шарф с шеи и намотала на голову. Звездочка обрадовался такой перемене в знакомом лице. С шарфом на голове она стала похожа на бабушку из России.

Роуз стрельнула окурком в пожирающие друг друга черные волны Кельвина и встала. Она часто сидела на этой скамье, но никогда не читала надпись на пластине, прикрученной к спинке. «У этой реки, скрестив две ноги, мечтала о будущем Розлин. Спи сладко, мой ангел!» Роуз изменилась в лице. Тревога выследила ее как команчи, бесшумно и подло атаковала со спины. Роуз вдруг показалось, что за каждым деревом стоят неизвестные ей мужчины, и прямо сейчас они выйдут из-за стволов. Они будут безмолвно и медленно ее окружать, замыкая кольцо. Все они в серых пальто, с поднятыми воротниками, с аккуратными проборами, гладко выбритые, с прогулочными тростями. Роуз схватила Звездочку на руки и побежала от реки, вверх – к дороге, к настоящим людям. Дождь превратил тропинку в медно-красную глину. Ноги вязли по щиколотку. «Это просто нервы, – повторяла Роуз. – Дома есть валиум, скотч и камин, плевать, что декоративный». Выбежав из парка, она замерла – как памятник промокшей и лохматой даме с собачкой. У входа в Ботанический сад стоял черный катафалк. Задние двери были распахнуты, и в них, как полено в печь, строгие люди вносили гроб с безобразной до боли надписью из желтых бутонов «Нашему дедушке» на крышке.

Роуз перебежала Байрс-роуд. Кэбы-кашалоты мигали на-

рушительнице дальними огнями. До дома, до ее крепости, было треть мили. «Ваш кофе», – крикнул ей вслед бариста с Маргарет-драйв. Знакомые колонны. Арка. Двор. Мокрая одежда на полу. Полотенце на мокрой голове. Валиум. Второй. Пультом включила экран камина. Легче. Намного легче. Звездочка не смог запрыгнуть ей на колени. Он раза с четвертого залез на диван и осторожно, боясь скатиться, лег на ее голый живот. Он тяжело дышал, надуваясь и сдуваясь как белый шар. В голове у Роуз странствовали беспорядочные мысли – об одиночестве, смерти и смерти в одиночестве, но они стихали, успокаивались под пледом. Роуз не заметила, как долго она гладила уже мертвого Звездочку, а когда заметила, отбросила его, снова схватила и, удивляя саму себя, не взорвалась истерикой, а просто сползла с дивана на пол и завывала тихо, осторожно, как будто затянула древнюю песню. Тревоги больше не было. Знаков больше не будет. Только сладостная горечь от того, что все снова стало объяснимым и понятным.

Поздним вечером совершенно нетрезвая Роуз повторяла дневной маршрут. В левой руке – бумажный пакет с односолдовым. В правой – целлофановый, со Звездочкой. Длинная куртка до пят, на молнии, а под ней ничего. Потому что так пьяной женщине интересней и веселей. В саду горели фонари. Ночь была немногим темнее дождливого дня. «Лопата!» Роуз вспомнила, что забыла. В сад она шла с мыслью похоронить Звездочку под злосчастной скамейкой и наца-

рапать рядом с металлической табличкой: «У этой реки ты нюхал под хвостами у собак, покойся с миром, весь мир дурак». Она развернула пакет, положила к маленькому Звездочке грязный булыжник, затянула тугой узел и запустила своего единственного друга в ледяной поток реки.

– Мусорить не хорошо!

Так, в один день, Роуз прикоснулась к уродливой смерти и встретила прекрасное. Не успели разгладиться круги на воде, как любовь в оболочке Хелен заговорила с ней первой. Хелен было не больше тридцати. Мокрая от пота шея. Обтягивающая серая майка и спортивные леггинсы, настолько облегающие, что то, что пьяные рабочие в пабах ласково зовут «верблюжьим копытцем», так и бросалось Роуз в глаза. Оранжевого света редкого фонаря хватало, чтобы понять, что Хелен бегала без нижнего белья. По дороге домой они говорили про Звездочку, про Бориса Борисовича, про неудачные опыты Роуз с противоположным полом. Они шли в их дом, и Роуз это уже понимала, а ее первая любовь была еще только заинтригована необычной и праздной жизнью своей старшей подруги.

Роуз оторвалась от фотографии деда и вернулась к окну. Снега все не было. Чайка тоже вернулась и вычесала четыре пера, которые прилипли к мокрому стеклу. «Ничего, – думала Роуз. – Скоро она придет с работы». Розлин убрала вино и достала скотч. «Капельку», – она решила побороть тревожное расстройство, раз и навсегда. Капелька повторилась

несколько раз. Время Роуз не подыгрывало. Стрелки настенных часов выглядели легкими, но заторможенными.

Наконец дверь открылась, и в нее вошла зимняя румяная Хелен. Под черным пиджаком, застегнутым на все пуговицы – спокойная белая грудь. На ней огромные миндальные соски, ровные как срез болонской колбасы. Мощный, загадочный и круглый как сизифов камень зад. Хелен с досадой посмотрела на жену:

– Опять?

– Хелен, нам надо поговорить.

Хелен сложила зонтик, сняла пиджак и медленно опустилась на банкетку. Она и сама хотела поговорить о многом. О том, что не может больше жить с пьющей, о том, что их совместная жизнь свернула с осеннего переулка в тупик, о том, что она не уверена больше в том, осталась ли в ней самой любовь или нет, и о том, что она с недавнего времени встречается с девушкой – в ботаническом саду, украдкой, с той самой, которая записана в ее телефоне как Дэвид. К инициативе Роуз она была не готова. Роуз еще не сказала ни слова, а она уже пожалела обо всем и хотела оставить жизнь на этом месте, чтобы не прощаться с последними четырьмя годами. Вдруг не тупик?

– Хелен, я хочу, чтобы мы стали родителями!

– Что?

– Послушай, пожалуйста, и не перебивай. Я весь вечер просидела в интернете. Мы усыновим мальчика из России,

Ивана, я покажу тебе фотографию.

– О, Розлин! Давай не сейчас. Ты пила.

– Послушай меня! – крикнула Роуз и подсела к Хелен.

Она говорила и не замечала слез в глазах любимой. Хелен на каком-то этапе попыталась сказать, что российских детей попросту нельзя уже усыновлять, но пьяный человек глух и нем ко всему, кроме обманчивого зова собственного сердца.

– Он вырастет, Хелен. Он будет приезжать к нам на выходные. Красивый и умный. Однажды он приедет с невестой. Мы уже будем жить в Берсдене, в доме с садом. Он будет статен, бородат, молод. А невеста будет звать его «дядя Иван», как в русской пьесе.

Роуз еще долго говорила. Сама с собой. Они уже легли в кровать, а в воспаленном сознании Роуз гналась карусель образов, не давая ей уснуть. Знаки, Звездочка, Иван!

Роуз накрыла голову одеялом и повела языком по коже спящей жены. От груди к паху. Она не успела коснуться волос, как Хелен резко одернула ее:

– Что? Я просто хотела поцеловать...

– Господи, Роуз, мне вставать через пару часов.

Хелен отвернулась и притворилась спящей. Роуз хотелось приблизиться со спины и начать с крепких белых ягодиц, но она не решилась. Хелен лежала и думала, когда и как она будет говорить с Роуз. «Может, написать? Трусливо. Но так удобно! Завтра или в выходные?»

Роуз встала и опять подошла к окну. Перья чайки смыл

непрерывный дождь. Она тихо подошла к фотографии деда. Под ней, в китайской вазе, была спрятана бутылка бренди. Роуз внимательно посмотрела на деда. «Обещаю, это последняя. Клянусь тебе. Чтоб я сдохла, как отец. Больше никогда...» Выпила треть бутылки. На сердце стало хорошо, легко и прохладно, как на весенней лужайке. Все наладится. Хелен будет рядом. У них будет сын. Роуз больше не позволит настроению править ее жизнью. Больше она пить не будет. Как дед Борис, она добьется, не зная чего, но в свои сорок она еще многого добьется.

Роуз побоялась опустить бутылку в вазу. Руки ее были не так послушны, как хотелось. Она тихо прошла в прихожую и там, в самом темном углу, решила спрятать бутылку в сапог. Завтра, когда Хелен будет на работе, она обязательно выкинет ее. Роуз присела и осторожно потянула дверную ручку. В шкафу, на удивление Роуз, было светло. Свет шел невесть откуда, и сыпался снег, настоящий снегопад. Перед глазами Роуз лежали крошечные сугробы, кружилась миниатюрная метель, и тянулся задушевный свист. Роуз закрыла дверь. «Нечего удивляться, не обманул „Хантингтон Пост“», – подумала она. Сорокалетняя Роуз вернулась в кровать, исчезла под одеялом, ушла гулять по своему городу.

Ученика III класса

Реального училища инженера

Г. А. Голополова в Дорогобуже

Май, 1910 год

Экскурсия в Смоленск

Когда нам объявили, что в воскресенье пятого мая состоится экскурсия в Смоленск, я не знал, как выразить свою радость. Я уже знал о значении крепости, о ее осаде поляками, но мне никогда не приходилось туда ездить. И вдруг теперь представляется случай!

Первым делом надо было, придя домой, сообщить родным о поездке. Родители охотно согласились меня отпустить. До вечера я хлопотал, чтобы взять с собой кое-что из провизии, что нам советовали в училище. Преподаватель рисования рекомендовал также взять с собой карандаш и бумагу, так как по пути будут попадаться красивые места и их можно будет зарисовать. Но вот все собрано, и, ложась спать, я мечтаю о будущем дне.

Утром, напившись чаю и закусив, я иду в училище, где уже толпились товарищи. Все были очень весело настроены, и только и слышно было разговоров, что о Смоленске. Некоторые ученики захватили фотографические аппараты и папки для засушивания растений.

Было уже девять часов утра, когда мы выстроились в пары и в сопровождении директора и преподавателей пошли

на вокзал. У кондуктора мы спросили, куда садиться, и он указал на большой вагон третьего класса. Мы вошли в вагон и поспешили занять места получше. Вагон был хороший: большой, спальный, так что мест хватило на всех.

Не прошло и пяти минут, как раздался звонок, и паровоз, издав резкий свисток, тронулся в путь. Все были очень довольны экскурсией. Ехать было очень весело: повсюду был слышен смех, шутки, разговоры, так что мы не заметили, как проехали восемьдесят верст.

Приехав в Смоленск, мы направились в гостиницу. По дороге нам попалось множество людей, которые также приехали помолиться в Успенский собор. Недалеко от гостиницы, на одном из холмов старого посада, мы были остановлены преподавателем истории, который, развернув перед нами старинные снимки, объяснил первоначальный план крепости. Мы рассмотрели башни Волкова, Костеревскую, Веселуху, Арамиевскую и Днепровские ворота. Какую стену строили наши предки, чтобы сохранить собор и посад!

В гостинице нам были отведены три номера. Все мы были рады отдохнуть. Номер, в котором находился я и мои товарищи, был очень поместительный и состоял из трех комнат. Сюда служащий подал нам кипящий самовар, и мы с великим удовольствием пили «троицкий» чай.

Через час мы были собраны и направились к соборным стенам. Здесь мы увидели монаха, от которого узнали, что в руководители нам назначен о. Клавдий. О. Клавдий все вре-

мя, пока мы были в храме, давал нам объяснения, которыми мы были восхищены: так хорошо он знал события. Перед нами – величественное здание, имеющее множество куполов. Это собор во имя Успения Божией Матери. Это большой храм. Весь построенный из камня. Верх собора вызолочен. Стены расписаны живописью. Иконостас состоит из пяти ярусов икон. В иконостасе по правую сторону Царских врат находится чудотворный образ Пресвятой Богородицы, обложенный драгоценными камнями.

Осмотрев собор, мы пошли в трапезную. Это здание несколько походило на уют, вокруг которого выстроены как бы большие завалинки, на которые ведут две широкие лестницы. Стоя перед главной, мы созерцаем колокольню и слушаем ее историю, а затем поднимаемся наверх. Войдя в дверь, мы очутились в большой квадратной комнате с огромными картинами, написанными на стене и изображающими ветхозаветную историю. Отсюда мы прошли в длинный зал, по бокам которого были поставлены столы с длинными скамейками.

Прочитав молитву, мы рассаживаемся за столом. Едим борщ из оловянных тарелок, пьем квас из таких же стаканов. Потом едим вкусную кашу со сливочным маслом. Поблагодарив о. Клавдия, строимся и идем в номера, где нас ожидает чай.

Так, пространствував по окрестностям целый день, мы пришли в гостиницу. Все сильно устали и рады были отдох-

нуть. В нашем номере было три кровати, два дивана, комод, два стола и несколько стульев. За неимением достаточного числа кроватей, большинство учеников расположилось спать прямо на тюфяках, положенных на пол. Было не очень удобно, зато весело. Обменявшись между собой впечатлениями, все заснули крепким сном. Я еще немного почитал Вальтер Скотта и помечтал о странствиях по Шотландии и горам. Ночь не прошла без происшествия, рассмешившего всех: вдруг раздался стук – это упал один из наших товарищей, которому было тесно спать на диване.

Часть II

Перламутр

1

– Родился я, что ли, взрослым, – Иван разглядывал собственные руки. Он сжимал и разжимал кулак, изумляясь гибкости пальцев. Проснулся стрелец только что, причем стоя голым перед старым, порченным зеркалом. Полотно пришлось протереть ладонью, и в просвете между разводами, трещинами и алюминиевыми волдырями он наблюдал мужское тело, еще крепкое, но уже немолодое. На правом боку по ребрам расплзалась гематома, как черное озеро, упирающееся краями в желтый песок. На колене разошелся струп, и кровь саднила тонкой змейкой по голени. Он шагнул к отражению вплотную и уставился на собственное лицо, на черную бороду, на вспученную вену, делящую лоб на две половины, и не узнал себя. Помнил он только, что зовется Иваном и что был он и, видимо, остается лучником. Промеж ног повисал уд. Ваня повращал тазом, шлепая добром по ляжкам, и оскалился. «Ну хоть не ветер там, и то ладно», – подумал он и упал на теплое еще сено, на котором, по всей видимости, и спал.

Потолок мазанки был низким. С него свисали связки чеснока и лука. Стены стояли не струганы, не крашены. Воздух был гадок. Ваня повернулся на небитый бок и поморщился, увидев ночной горшок. В пенке билась многоножка. Закопченное окно до середины было завалено снегом. День ли, утро ли, вечер? Не разобрать. Лучник потянул на себя тулуп, лежавший в ногах, закрыл глаза и принялся слушать. За стеной кто-то прошелся, прокашлялся, а кто-то другой рассказывал сказку.

– Завелся как-то в нашем селе Бог. Ну и давай кур воскрешать. Челядь-то, чай, не корова: посидела, подумала и вот что выдумала. Вечные яйца – дело-то прибыльное. Собрались, значит, ополчились и взяли Бога в рабство. – Рассказчик несколько раз причмокнул, видимо раскуривая трубку. – Расцвел край! Стали все белые дни напролет торговать. Торговали – не переторговали. Но жизнь, брат, репа. В меру сладка, а порою горька. Убёг Бог наш. Надоело ему. Вышел из плена.

Сон к Ивану не шел, и решил он встать и осмотреться. Вдруг там, за стенкой, его знают и откроют ему, кто он есть и как тут оказался. Под дверью лежала горка тряпья. Иван поднял ее и, узнав в вещах свою одежду, стал утепляться. В щель тут же потянулся удушливый запах табака. В минуту он был готов. «Военный я, что ли? Вдруг стремянной?» – посмотрел на себя в зеркало еще раз. На Ване блестела кольчуга, натянутая поверх ватной рубахи – старой, бесцветной, в

прорехах. Штанов не нашлось, были только подштанники – теплые, дутые, похожие на мешок. Ступни он ловко обмотал двумя тряпками и влез в сапоги, подтянув отвороты к коленям. Ваня нарядился столь скоро, не задумываясь, одной памятью рук, из чего и вывел, что он из служилых. Перед выходом он застегнул кожаную португею и поправил на плече. Похлопал колчан, прицепленный со спины. В нем оставалась стрела. Лука нигде не оказалось. Ваня вышел и хлопнул за собой дверь так громко, что углый дом содрогнулся, а звери, завидевшие его, прервали свои дела и робко расселись.

Его появление оказалось неожиданным, и люд в зале попритих. Ну как люд? Медведи. И зал – не зал, так, сени. Немногим больше его спальни, и тусклых оконцев не одно, а три. «Э, – оглядел постояльцев Иван, – видать, давно они тут, а застряли еще надольше». Медведи, сидевшие по лавкам, разом прервали разговоры и уставились на вошедшего. Вида они были жалкого. Тощие, позабывшие вкус лосося и малины, с обсосанными лапами, смердящие вымокшим псом. «На собак похожи», – подумал Иван. Один из мишек встал на задние и поднес ему кобзу.

– На вот. Наладь, раз проснулся.

Ваня ущипнул верхнюю струну, затем среднюю. Покрутил колки и вернул медведю настроенный инструмент. «Ого, – подметил Ваня, – я и это умею».

Посреди бурых шкур сидел один все ж таки человек. Широкоплечий мужчина в расстегнутом до пояса красном каф-

тане. Он упирался локтем в колено, а в свободной руке держал деревянную кружку, видимо с бражкой. Он отставил вино и протянул Ивану руку, причем не привстав.

– Заборов.

«Экий наглец», – подумал Иван и руки тому не подал. Лучник не сразу понял, что такое отталкивающее было в Заборове. Нет, не развязанная его манера сидеть и не трепет, с которым взирали на него медведи, и даже не бегающие глазки подлеца. Голова! Вместо человеческой головы на шее Заборова сидела заячья, только не малая, а здоровенная, как если б ее сняли с двухметрового кроля. Мохнатые уши топорщились. Между ними, поперек тулова, сидела черная двууголка. Золотая кисточка ее нависала над рожей и прятала за собой мерзкий розовый нос, который то ходил из стороны в сторону, то непроизвольно вздрагивал и казался во все времена мокрым.

– Тут кто-нибудь знает, кто я? – спросил Ваня.

Заборов вернул протянутую руку на прежнее место и ухмыльнулся. Медведи в ответ только моргали. Не выдержав навалившейся тишины, Мишка заиграл и, не раздумывая, торопясь, невпопад запел:

*За Петровой горкой,
За косым оврагом
Занавесил шторки,
Залил сердце брагой.*

– Иван ты, – оборвал задумчивую Заборов. – Заявился на днях, говорил, что стрелец, и что отзываешься на «Ваню», и что лук свой потерял...

– Какой лук? – выпалил Ваня, недослушав.

– Ну вряд ли порей, – ответил Заборов, шмыгнув носом и вытащил из-за пазухи бутылку спирта.

– Так! – Иван прошелся по комнате и сел на скамью. Медведи послушно отсели, освободив стрельцу единственную затертую подушку. – Так! – повторил он и обратился к Мише: – Перестань тренькать.

Игрец послушно повесил инструмент на гвоздик. «Значит, и они не знают, – думал лучник. – Но я же кто-то и прожил как-то до своих... э... лет». Медведи сидели тихо, виновато свесив головы. «От этих зачумленных толку никакого нет», – с досадой оглядел их Иван. Вожжаться с мужиком звери не хотели.

– Ну хоть что-то еще я о себе говорил? А? Заборов? Откуда пришел, куда следую?

– Пришел от блуда, а следуешь в могилу, – заячья морда затряслась от хохота.

– Верно, Иван. Все там будем, – совершенно серьезно и с сочувствием сказал Миша, подсевший к стрельцу поближе.

– Ты, Ваня, мужик бедовый, – продолжил Заборов, вдоволь проржавшись, – я таких перевидал. В пьянстве буен, в похмельии грозен.

Сделалось Ване от таких слов обидно. По всему видно бы-

ло, что заяц прав. Поник головой Иван. Принялся мотать на палец бороду. Посмотрел на него Заборов и сжалился, и простил непожатую руку.

– Про государственное дело ты говорил. Шел ты в сторону Днепра за каким-то поручением, то ли вестью. Но пьяный был сильно и побитый. Мишу, вон, обидел. Псом обозвал и спать завалился. Больше ничего не знаю. По правде, и забыл про тебя, сколько ты там.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.